Дина Рубина
Холодная весна в Провансе

Дина Ильинична Рубина

Холодная весна в Провансе (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164172
Холодная весна в Провансе: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-21259-0

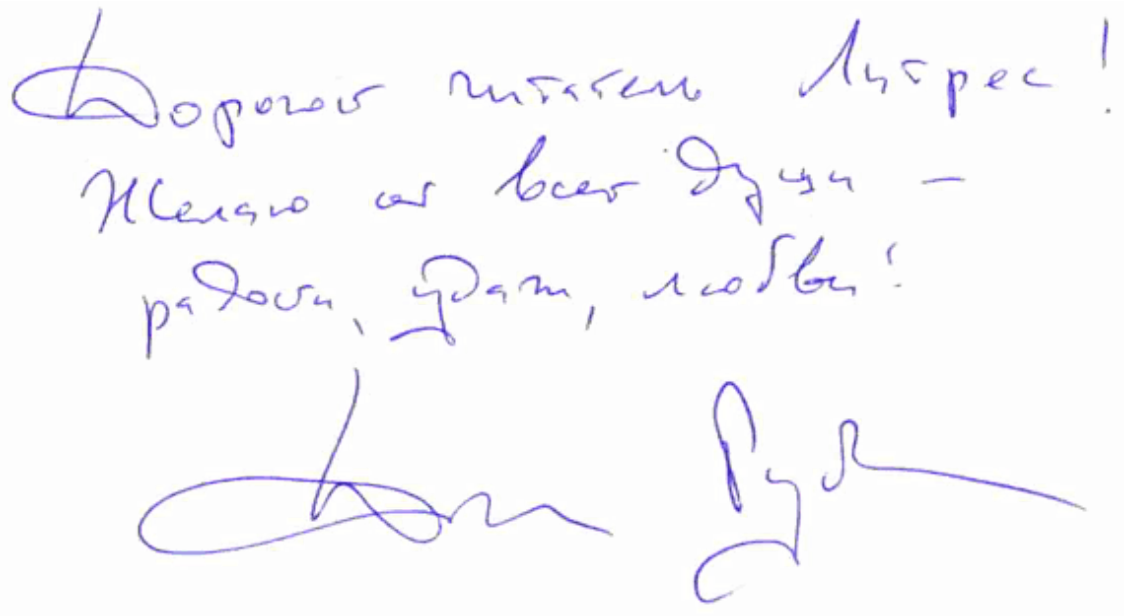
Аннотация

Дина Рубина живет в Израиле, куда она уехала более десяти лет назад уже состоявшимся прозаиком. Трудности вхождения в новую реальность и связанное с этим одиночество человека там, где даже «камни сохранили величие», стали ее темами на несколько лет…

Содержание

Время соловья (вроде предисловия) 5
Школа света 14
Вилла «Утешение» 30
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Дина Рубина
Холодная весна в Провансе



Время соловья (вроде предисловия)

Название улицы, на которой стоит наш дом, в переводе с иврита звучит возвышенно и даже претенциозно: «». Но это вполне определенный соловей – муэдзин мечети соседней, через ущелье, арабской деревни Аль Азария, где когда-то Иисус воскрешал безнадежно умершего Лазаря…

Ежедневно, часа в четыре утра, гнусавым рыком через громкоговоритель, установленный на куполе минарета, он окликает правоверных.

Когда замирает его грозный речитатив, со стороны бедуинского становища доносится довольно слаженный хор голосов проснувшихся ослов, собак, петухов и овец. Когда и эти голоса тонут в облачке отдаленного шума дороги, внизу, в тишине над черепичными крышами спящего городка проносится панический вопль павлина…

Чуть позже, с околицы нашей, катящейся к лесу, улицы, мягким кошачьим шагом поднимается юноша-бедуин. Его драные кроссовки бесшумны, и сам он гибок и проворен как ящерица. Возможно, у него есть веские причины обходить блокпост на въезде в город, где под большим щитом «Наш город благословляет каждого, кто во вратах его!» на пластиковых стульях сидят трое подобных ему парнишек, только в форме солдат израильской армии, жуют сэндвичи и пьют утренний кофе, наливая его из термоса в одноразовые стаканы. Вот они-то и благословляют каждого, кто во вратах, рассеянно при этом проверяя.

Так же, как охранник-эфиоп проверяет каждого на входе в городской «каньон» – огромный торговый центр. Ощупывая сумки не лишенным эротики, взвешивающим движением ладони, словно благословляющим урожай изобильной груди, он дежурно спрашивает: – Пистолет есть?

И когда вы так же дежурно отвечаете: – Нет, – наклоняется и заговорщически произносит: – Так купи два!

Улыбчивый мир нашего городка я постигаю в утренних прогулках с моим псом Кондратом.

Пять тридцать утра… Молочная нега жемчужных далей обволакивает окрестные холмы с прозрачными рощицами на загривках.

Воздух еще продут ветерком и со дна ущелья воскуряет ароматы шалфея, тысячелистника, лаванды, олив на склонах, и чуть саднящую нёбо гарь очередного пожарища очередной арабской свалки на соседней горе.

Умолк тягучий стон муэдзина, пропели петухи и откричал осел.

Павлин своим предобморочным криком испугал почтальона, фасующего по ящикам рекламки, коммунальные счета и уведомления об уплате штрафов.

Это наше время.

Уже дают восход солнца. Билеты у нас – в первом ряду партера. У нас и у пастушьих бедуинских собак, забредающих полакомиться забытым куском сэндвича на скамейке.

За частоколом бочонков солнечных бойлеров и остроконечных туй, за карминной коростой черепицы, за псевдоримской аркадой «каньона», из Соленого, невидимого с нашей горы, моря возникает – прорезается – огненная лысина солнца. И неправдоподобно, мгновенно(в акушерстве это, кажется, называется «стремительные роды») оно впрыгивает на небосклон – оп-ля! – с ловкостью карточного шулера меняя цвет с пунцового на оранжевый. И, притормозив для приличия над «каньоном», с медленной истомой начинает раскочегаривать свое людоедское брюхо.

Мы поднимаемся по нашей улице к маленькой частной синагоге «Шатер Габриэля и Рафаэля» с узкими, как закладки, высокими венецианскими окнами и еще запертыми дверями, огибаем зеленую лужайку и трусим по заветным местам, дабы отметить членство в открытом Собачьем клубе, принимающим любого в свои демократические ряды.

Маршрутов у нас немало – три или четыре. Собственно, маршрут у нас один, потому что улицы на этой горе закольцованы и наброшены на нее, как обручи на бочку, дома поднимаются террасами, и куда не пойдешь, выйдешь все туда же, только с разных сторон.

От синагоги можно взять правее – дорожка пойдет над обрывом, огражденным невысоким забором; внизу будут реветь грузовики, вжикать легковушки и мотоциклы, по ту сторону ущелья громоздятся, поставленные торопливо впрок, дома наших арабских соседей, с черными провалами зияющих на многие годы окон. Вниз по склону той же горы древесно-жестяными наростами шелушатся чешуйки бедуинского стана.

Слева тянется полукруг домов улицы «Райские плоды», террасами двориков вгрызающейся в гору.

Один из них в нашей семье носит название «Дом Голого». Мы так и говорим: – Да это же недалеко, возле Дома Голого… или: – Давай срежем угол, мимо Дома Голого.

История этого топографического названия незамысловата: в один из жарких дней мы с Кондратом трусили себе рассветной улицей, думая каждый о своем. Вдруг в одном из окон взлетели с подвизгиванием автоматические жалюзи. Я обернулась. За стеклом большого, от пола до потолка, окна стоял обнаженный юноша. Сильно потягиваясь, он широко и сладко зевал, глядя вдаль, на Иерусалим. Затем перевел рассеянный взгляд вниз, на улицу, увидел нас с Кондратом и приветливо помахал рукой.

Помнится, в тот момент я живо представила, как бы в этой ситуации поступила средняя американка из городка на Среднем Западе: она бы выколотила из голых чресл своего соседа миллиона полтора долларов.

Но у нас здесь не Средний Запад. Возможно, этот парень – солдат, вернулся домой на субботу, накануне вволю нагулялся в городе, свалился спать под утро, а сейчас вскочил и сразу распахнул окно, не задумываясь о своем неофициальном виде.

Вы догадываетесь, что я сделала? Конечно, я помахала ему в ответ. И мы потрусили дальше, привычно завернув на улицу «Багряная нить».

(Кому-то может показаться, что я выдумываю названия улиц или приукрашиваю существующие. Ничуть не бывало! Да и странно было бы предположить, что народ, сызмальства вскормленный поэтикой библейских текстов, может согласиться на какой-нибудь «Комсомольский тупик» или «Большевистский проезд». Поэтому прогулка по улицам нашего городка доставляет мне еще и медленное филологическое удовольствие: «Очи, возведенные к небесам»! «Яхонтовая площадь»! «Виноградная лоза»! «Дорога в Иудейской пустыне»!.. Целая россыпь «звучащих» улиц: «Арфа», «Скрипка», «Флейта», «Поющий рожок»!.. Не говоря уже о том, что главное шоссе, пересекающее весь город, называется «Дорога к Храмовой горе» и, что действительно интересно, – приведет-таки вас, куда обещает!)

В этот соловьиный рассветный час по пути нам – по двое, по трое, – встречаются бедуинки, бодро обходящие мусорные баки в поисках утиля. Как старательницы, критически разглядывая содержимое баков, они ворочают внутри палкой, почему-то отбрасывая одно тряпье и складывая другое аккуратной горкой на асфальте. Затем присаживаются на скамейки, достают термос с кофе, булки, намазанные хумусом, и горячо, деловито что-то обсуждают, жестикулируя и позвякивая многочисленными браслетами на руках…

Говорят, бедуинские женщины – такой обычай – все свое золото носят на себе: если муж уличает жену в измене, он выгоняет ее из дому, и она не имеет права взять с собой ничего, кроме того, что на ней надето.

Однажды на детской площадке возле дома я увидела старуху бедуинку, поджидающую кого-то из своих со старательской добычей. Она сидела на детских качелях, задумчиво раскачиваясь, отводя в сторону тощую, по локоть унизанную тусклым дутым золотом руку с дымящейся сигаретой, то вытягивая под прямым углом ноги в голубых шальварах, то подевчоночьи их поджимая…

В нашей армии бедуины служат следопытами. Дети пустынных холмов, только они способны по брошенному окурку определить – сколько тот провалялся на земле, что за человек выкурил эту сигарету и в какую сторону направился после того, как бросил окурок. Они убеждены в том, что бедуины-то и есть хозяева этой земли. «Ишмаэль уйдет… – говорят они, – Исраэль уйдет… А мы останемся…» Пока же израильская армия то и дело подбрасывает им списанные армейские палатки. В домах эти хозяева земли не живут, им сподручней в лачуге, слепленной из жестяных, неизвестно где добытых листов, из коробок, из дощатых ящиков. Впрочем, нередко в глубине штопаной армейской палатки, поставленной на краю огромного загона, мерцает голубым экраном телевизор, а у входа стоит новенький «вольво».

Словом, бедуины загадочны, в отличие от арабов, которые – понятны.

С восходом солнца бедуины исчезают из городка.

Дважды в неделю на углу улицы «Дочь Надива» мы сталкиваемся с процессией: старый араб в резиновых сапогах бодрой походкой косца (только на плече у него не коса, а швабра с болтающимся на ней ведром), гонит перед собой четверых мальчиков от шести до десяти лет. Это бригада уборщиков нашей улицы – «Ибрагим и сыновья». И пока расторопные маленькие рабы драят парадные и поливают дворики, Ибрагим сидит на корточках под стеной, курит и поглядывает вокруг хозяйским глазом: наши соседи уверены, что настанет день, и эти улицы перейдут в их пользование. Пока же можно получать настоящие деньги за глупое, придуманное евреями занятие – подметание улиц, – можно сидеть, курить, извлекая из этой жизни свой медленный кайф.

С Ибрагимом я иногда перекидываюсь двумя-тремя словами на иврите, которым он владеет, вернее, не владеет, примерно в той же степени, что и я.

– Вот думаю… – сказал он однажды. – Машину купить… или жену купить?

– Зачем тебе еще одна жена?

– Старая рожать перестала…

– А сколько у тебя детей, Ибрагим? – полюбопытствовала я.

– Семнадцать…

– Семнадцать… и тебе мало?!

Он помолчал, дотошно докурил до корешка сигарету, отшвырнул ее, сказал:

– Женщина должна приносить детей…

Но мы отвлеклись… Дальше, дальше! Вот на повороте к улице «Берега ручья» открывается магазин «Деше-вейшие трое», сокращенно – «Дешевка».

Это очень дорогой магазин. В него допустимо сбегать, если вдруг перед субботой ты хватишься лука или моркови, а в «каньоне» в эти часы, как известно, столпотворение. В «каньон» и зайдешь-то не сразу. Необходимо набраться терпения, пригласительно раззявить сумку:

– Пистолет есть?

– Нет!

– Так купи себе два!

У раскрытых дверей «Дешевки» двое арабских рабочих разгружают сразу два минибуса: с молочными продуктами и булочными изделиями. Мы их гордо минуем, задерживаемся на верхней лужайке, играющей в нашем Собачьем клубе роль форума, где каждый

может оставить свое мнение, и двигаемся наискосок дальше, где непременно путь нам перебегает одна знакомая личность. Мой пес, презирающий кошек, при виде этой странной длинноухой и безхвостой особи останавливается, оглядывается и недоуменно на меня смотрит. «Тот еще типчик!» – говорит его брезгливая физиономия. Типчик действительно тот еще: робкий и наглый одновременно, этот Кролик – впечатление такое – живет сразу на обоих участках, разделенных кирпичной дорожкой. И, кажется, этим кичится. Он поджидает нас по утрам, а, завидев, перебегает улицу перед нашими носами то справа налево, то слева направо, при этом по-хозяйски потрюхивая толстой задницей.

Наверху, на крутом гребне улицы, мы всегда ждем одной и той же сценки.

Меняется в ней только вид транспорта. Иногда это мотороллер, бывает, велосипед, раза два прямо на нас выезжала доверху груженная детская коляска. Но чаще это белый обшарпанный «вэн».

Вот он возникает на повороте, резко тормозит, из него выскакивает девочка-мальчик лет семнадцати, в повязанной на манер пиратов – закрывающей лоб, – косынке, в коротких, ниже колен, штанах, в огромной майке, в теннисных тапочках. В руках у нее два небольших снаряда: плотно упакованные номера пятничной газеты «Маарив». Подбежав к палисаднику, она швыряет через забор один снаряд, затем, совершив полукруг металь-щицы копья, пружиня на одной ноге и поджав другую, сильным посылом вбрасывает другой пакет на балкон второго этажа и, не останавливаясь ни на мгновение, отскакав по инерции два-три шага назад на одной ноге, бегом возвращается в машину, рвет с места и мчит по улице вниз…

И, наконец, мы спускаемся к парку, над которым полукругом возносятся дома с остроконечными крышами, снизу похожие на неприступные стены цитадели. Вот оттуда, с пологого склона горы, и слетает на черепицу нижней улицы потрясенный, страстный, ошалелый вопль павлина. Вопль ужаса потерявшей кошелек провинциальной дуры.

Небольшой участок каменистого склона один из жильцов превратил в маленький домашний зверинец. Высадил на нем апельсиновые и гранатовые деревца, кусты олеандров и бугенвиллий и заселил разнообразной домашней живностью: утками, курами, индюками. Кажется, у него и овца там есть, а возможно, и коза – снизу не видно. Но если удачно выбрать место обзора на зеленом косогоре и постоять там, заслоняя ладонью глаза от молочного утреннего солнца, можно увидеть павлина на фоне стены из иерусалимского камня. А если совсем повезет, можно застать момент горделивого представления, когда он разворачивает персидское опахало своего хвоста. Развернув его и постояв в оцепенении минуты две, как бы давая зрителям время упасть в обморок и благодарно прийти в себя, он приступает к спецэффектам: несколько раз, сильно встряхивая, прогоняет крупные волны света по радужным окам каждого пера, протрясает его, как хозяйка шаль, медленно поворачивает иссине-зеленый сосуд тела с тонким горлышком и изящной, украшенной короной, головкой, подставляя свое богатство лучам, после чего приспускает флаг, давая понять, как утомительно владение этим райским садом с восточных миниатюр.

Однажды я наблюдала, как он погнался за курицей – так хозяин лавки с проклятьями несется по торговым рядам вдогонку беспризорнику, стянувшему у него из-под носа орех или пряник. Хвост был развернут, как хоругвь, и все глазки на нем переблескивали фиолетово-синим, иззелене-желтым, пунцово-черным огнем…

По весне городок проходит все стадии театрального преображения. Первыми вступают средиземноморские акации, цветущие нежным, каким-то милосердно-сиреневым цветом. Целые улицы засажены у нас этими деревьями; на исходе апреля и весь май они сбрасывают цветы, как перья, по городу разносится сиреневая вьюга на хвосте весеннего ветра, и сиреневый мусор скапливается в углах дворов и подворотен – в нашем раю вообще довольно мусорно…

В мае же просыпаются розовые и белые олеандры, медленно приоткрывающие цветки, обрамляющие – над заборами – огромные изысканные кактусы, слепленные из больших колючих оладий.

Особый выход у бугенвиллий.

Нигде не встречала я такого разнообразия оттенков цветов бугенвиллий, как здесь. В Италии и Испании видела только чернильно-лиловые. Наши чародеи-садовники вытворяют с бугенвиллией черт-те что! Алые, розовые, белые, палевые, бордовые и – особый изыск – декадентского солнечного цвета «само» кусты переплетаются с простонародно вишневыми в тесном надзаборном объятии, пышной цветной пеной выкипают из дворов на улицы, сбегают вниз по желтым и розовым стенам иерусалимского камня.

В середине же мая коротко вспыхивает пунцовыми пальчиками, растущими как бы из одной ладони, хрупкое экзотическое дерево на верхней лужайке. Недели две оно растерянно красуется перед грузчиками, затаскивающими в «Дешевку» картонные коробки с бутылками «колы» и «пепси», и напоминает диковинную японскую принцессу на улице деревни Иваньково, густо застланной подсолнечной лузгой.

Кстати, подсолнухи у нас тоже растут.

Подобно вездесущим журналистам на кинофестивалях, наш весенний фестиваль сопровождают и комментируют независимые господа удоды, в черно-белых полосатых сюртуках, – гребенка на высокомерной голове в сочетании с длинным прямым клювом напоминают штопор. Прилетают они поодиночке, но однажды мы застали на лужайке трех таких оживленно беседующих господ. «Смотри, пресс-конференция…» – сказала я псу…

…Ну-с, а между тем солнце теряет невинность младенца, быстро взрослеет и матереет, и сатанеет с каждой минутой, зудит и жалит, и к концу прогулки мы уже плетемся, выбирая теневую сторону, мимо синагоги «Шатер Габриэля и Рафаэля», мимо ее, насквозь прорезанной светом, прохладной утробы, где качаются спины молящихся в графически белых, с черными полосами, талесах…

Затем до вечера опускается занавес… вернее, падают жалюзи на окнах. Это – Время Солнца…

…Давно выпит кофе, и идет работа, «ноутбук» ворчит, подзаряжаясь…

В полдень со стороны Елеонского монастыря глухо накатывают прохладные и глубокие колокольные волны, словно бьет корабельный колокол под водой, – христианская сестра здесь младшая, она тиха и затаенна…

Мой пес мохнатым ковриком валяется под письменным столом, изнемогая от жары… Жара, жара, жара… И это конец мая! А что ждать в июле?! Что будет с нами в августе, о Боже, что будет с нами в августе?!

Когда замирает колокол Елеонского монастыря, сверху улицы доносятся урчание старой колымаги и высокий полустон-полупение, дрожащее в мареве жары:

– А-а-аль-те-захи-и-ин!!! – интонационно это напоминает песни из индийских кинофильмов, только жалобней, жалобней и выше, звук вьется серпантином и обессиливает на вершине стона:

– А-а-аль-те-за-хи-и-ин!!!

Это «Алтэзахен» – попросту старьевщик-араб. Вообще-то «Алтэ захен» в переводе с идиша означает «старые вещи». Когда-то, лет восемьдесят-пятьдесят назад, вот так по улицам разгуливали еврейские старьевщики, охотники за барахлом, подержанными вещами, старой обувью… Сейчас эта прибыльная профессия перешла в руки арабов, вместе с привычным воплем, перелицованным, как старье, на арабский лад.

Минуту спустя вопль приближается, вот шаркают подошвы по тротуару, наконец серенада оглушает нас непосредственно снизу, прямо из-под нашего окна. Но нас не обманешь,

нет. Нас уже не трогают фальшивые жалобы мнимого бедняка, владеющего процветающим бизнесом.

– А-а-аль-те-за-хи-и-ин!!!

Нет, проверено: не хочет он ни старой одежды, ни старой обуви, ни старой табуретки. Это модернизированный старьевщик.

– Комбайн есть? – спрашивает он. – Стиральная машина? Компьютер? А что у тебя есть? Только старые вещи? Нет, мне не нужно старье…

Заслышав знакомый крик, мой пес срывается с места и с проклятьями бросается к окну. Прочь, прочь отсюда, бездельник, не на тех напал!

…Из дремы нас выманивает легкий свист, и не свист даже, а дуновение невидимых губ… Таким втягиванием струи воздуха фокусник вызывает кобру. И вот зловещая плоская голова приподнимается над краем корзинки, свист уплотняется, в дело вступает флейта, ее однообразный тянущий, завораживающий звук несколько мгновений стоит в тишине, как маслянисто-черный стебель кобры… И вдруг взвывает свора собак! Рычание, кашель, визг доносятся со стороны балкона, одновременно из-под опущенных жалюзи в спальне утробно воет обиженный бас какого-нибудь прохожего беса, которому вторит вой шакала.

Спать уже невозможно, ибо наступило самое смутное, самое беспокойное время дня.

… В середине дня жара становится плотной и вязкой, движения замедляются, компьютер одышливо всхлипывает, пыхтит, просит перекура… Да и мы нуждаемся в некоторой паузе. Недаром на Востоке и в странах Средиземноморья вершиной дня, благословенным привалом, всегда была сиеста. Движением «мыши» трудяга-компьютер отсылается в сон, да и мы плетемся к дивану, прикорнуть на часок, забыться, отдаться душной летаргии…

Это – Время Ветра.

Это время настоящего хозяина Иудейской пустыни – небольшой, в сущности, местности, породившей три великие религии. Ветер – вот кто их породил. Ибо Всевышний говорил с пророками утробным и яростным голосом ветра. Ибо музыка и ярость здешних ветров, их сложнейшая партитура навевали древним пастухам сюжеты всех наших мифов и легенд. Это не дьявол, а ветра соблазняли Иисуса, «подступались» к нему, изнуряли слух, и без того изможденный парами пустынных галлюцинаций…

…С наступлением сумерек ветры стихают. Холкой жеребенка чернеет роща на Масличной горе; извилистая, голубая днем вена Вади-Эль-Хот – древнейшей дороги паломников из Иерусалима к Мертвому морю – начинает пульсировать огненным кровотоком несущихся машин и грузовиков. Ряды фонарей, унизывающие змеиные ее кольца, теплеют и наливаются электрическим мёдом… Скульптурная луна, вылепленная из алебастра чьими-то холодными пальцами, напарывается на клинок колокольни Елеонского монастыря… И на горах Иерусалима в непробудной черноте одинокой ночи вскипают на горизонте, восходят пузырящимся паром сине-желтые озера праздничных огней.

Открывается новое кафе у Дома Голого – крошечное помещение с антресолями, на которые ведет спираль крутой деревянной лестницы. Помещение затоплено апельсиновым светом и с улицы выглядит так уютно, что хочется зайти и непременно заказать там чашку дорогонького кофе.

Тем не менее на выезде у блокпоста голосуют стаи подростков: несмотря на то, что город благословляет каждого, кто стоит во вратах его, подростки и молодежь каждый вечер рвутся из нашего рая в Иерусалим, чтобы куролесить там до утра по дискотекам и пабам.

Напротив, через ущелье, в головке минарета соседской Аль Азарии загорается зеленый глаз-фонарь, такой же – в деревне Абу Тур на Масличной горе, и до рассвета хищные глаза минаретов стерегут округу…

…Это мой мир, я придумала его сама, и всех вокруг усердно превращаю в его обитателей: семью, друзей, соседей, своего пса. Это текучий сверкающий мир, отмытый в семи водах моего воображения, очищенный от мусора подворотен, процеженный сквозь белесый налет хамсина на воспаленном нёбе нашей прихворнувшей Вселенной…

Изо дня в день, точно как солнце выпрыгивает над псевдоримской аркадой нашего «каньона», так и в моем кабинете отщелкивается крышка плоского «ноутбука» и на пустынный экран медленно восходит картинка мира. Как солнце совершает небесный цикл, закатываясь за Масличную гору, так и мы с моим псом проходим все стадии времени дня, и это размеренное существование помогает трудолюбивой мысли торить свой путь, не отвлекаясь на пустяки.

Но наступает в конце концов день, когда закончен роман или повесть, и сонная тишина утра раздражает и томит, розовые кусты олеандров кажутся пошлыми, юмор охранника в супермаркете – идиотским, крик муэдзина приводит в бешенство, хищный глаз минарета ощущается прицелом миномета, а в безмозглого красавца-павлина хочется запустить чем-нибудь, чтоб он заткнулся… Вообще, тесно… Теснит в груди, в плечах, зачем-то покупаешь новые кроссовки, хотя старые, в которых исхожены Рим и Амстердам, еще ого-го!.. Поглядывая друг на друга, мы с мужем замечаем, что в Гранаде сейчас, пожалуй, совсем не жарко, а в Брюсселе – так просто прохладно…

Зачем-то включаешь по вечерам телевизор, в надежде увидеть что-то, но – что? И с хищной тревогой вникаешь в страстные филиппики послеполуденного ветра, напрягаясь различить в них какую-то заморскую весть, как бывало, обитатели замка жадно слушали у костра рассказы пилигрима об увиденных им в пути чудесах.

Словом, большие ветра доносят до нашей улицы сердцебиение большого мира.

Значит, наступило Время турагента Саши.

Наш турагент Саша тоже обитатель моего архипелага. И немаловажный. Достаточно посмотреть только, как ответственно чешет он ручкой в затылке, как вглядывается в экран компьютера, бормоча себе под нос:

– А почему бы и нет, хм… хм… Брюссель? Ну… положим… нет, пятичасовая пересадка нам ни к чему… А если вот так? Рим… Нет, болтаться там всю ночь… к черту!.. А вот мы с другой стороны…

Минут через тридцать такого бормотания мы, сидя напротив нашего алхимика с заискивающими лицами, подобострастно спрашиваем:

– Саша… ну… что?

Он проделывает еще несколько таинственных пассов, колотя по клавишам с таким остервенением, словно хочет выколотить из них толковый ответ не только на свое бормотание, но и на сакральные вопросы бытия.

– Ну ладно! – наконец отвечает он, откинувшись в кресле. – Пусть будет так.

И вскоре уже в доме воцаряется праздничный гон предотъезда.

Художник этой моей книги… и не только этой моей книги, и не только книги вообще, но и моей судьбы – Борис Карафёлов – человек в быту молчаливый и непритязательный.

Помимо иных положительных качеств у него есть еще одно: в отличие от меня он прекрасно ориентируется в пространстве. Он понимает географические карты!!! – что приводит меня в трепет.

Если забыть об этом его, пугающем меня, таланте, он очень смешной – как и все люди, на которых падает мой взгляд, даже – и особенно! – тогда, когда он падает в зеркало.

Боря смешной: он мучительно долго собирается в дорогу, тревожится о том, как бы чего не забыть (и всегда что-нибудь забывает), терпеть не может опаздывать, поэтому в аэропорт мы приезжаем за сутки до отлета…

Словом, Боря смешной, и поэтому годится не только в попутчики, но и персонажи.

И все годы нашего знакомства он с обреченным достоинством несет двойной этот крест.

Задумав собрать под одной обложкой плоды своих странствий, я вдруг обнаружила, что не являюсь единоличным их автором. Вернее, в том, что касается «изреченного», то есть вбитого в компьютер, слова – возможно. Но, вернувшись из очередного путешествия, мы с Борисом обычно разбегаемся – каждый к своему станку, – чтобы раздвоить, развести, переплавить в разные материи, воплотить в разном материале общие впечатления. Ведь каждый человек, а тем более художник, извлекает из окружающего пространства то, что видит в нем его душа. А Борис в самых привычных пейзажах видит загадочные линии, формы и сущности.

Однажды он участвовал в поездке группы израильских и российских художников по городкам и местечкам Украины – по тем местам, где когда-то бурлила еврейская жизнь, строились синагоги, создавались памятники культуры и ремесел… Киев, Вижница, Винница, Берди-чев, Черновцы, Шаргород, Каменец-Подольский, Умань…

Поездка была отлично организована, в ней приняли участие исследователи и ученые; лекции сменяли экскурсии, было время и поработать…

– Прекрасные места! – рассказывал Боря, – пленительные пейзажи, величие холмов Подолья, мягкая золотая осень… Художники онемели от такой красы, были потрясены, очарованы…

В последний день поездки соорудили походную выставку работ, которые за это время были созданы.

– Ты бы видела эту выставку «по впечатлениям»! – улыбаясь чему-то своему, рассказывал Боря. – Питерцы, как один, выставили пейзажи своего туманного Петербурга, москвичи – улочки Замоскворечья, Солянку, Ордынку… Киевляне – какую-нибудь церковку на Крещатике…

– А ты? – спросила я с любопытством.

– А я представил семь своих автопортретов, – ответил он безмятежно.

… И вот уже размеренная жизнь нашего тревожного рая вновь выкатывает на берег одинаково округлые утра и похожие друг на друга вечера. Зеленые хищные глаза минаретов стерегут до утра закипающую ночными огнями кастрюлю Иудейской пустыни – как бы не выкипела.

А на нас наваливается сезон работы – изо дня в день, изо дня в день: мучительный поиск сочетаний и сочленений слов, изнуряющие пробы сочетаний и сочлене ний красок; проговаривание, осмысление и – удивление…

…Впрочем, до известной степени любая картина художника – его автопортрет. И когда, по возвращении из странствия, мы разбегаемся – каждый к своему станку, вскоре выясняется, что какая-нибудь гора Сан-Виктуар или уголок Дельфта увидены нами по-разному, хоть и с одной точки обзора… Сперва меня это огорчало, а сейчас вселяет надежду: значит, совместный мир, который так старательно нами обжит, несмотря ни на что многомерен, многоцветен и многолик.

Ведь эти картинки в книге – и те, что писались акварелью за три часа, и те, что вымучивались маслом по три месяца, – тоже есть не что иное, как согретое теплом общей кухни,

влекомое на поводке любимым общим псом прорастание друг в друга, переплетение наших ремесел.

Ты – раб своего ремесла, именного рабочего клейма, своего умения. Так тяни свою сдвоенную галеру.

А если – бывают дни! – тебя обуревают чувства восставшего раба и нет у тебя пистолета, так купи себе два, в конце-то концов!

…Проносится и замирает над космическим пейзажем космический вопль муэдзина. Через минуту вскрикивает и затихает павлин, разворачивая в рассвете глазастый божественный веер хвоста. Я выключаю конфорку под джезвой с черным кофе и открываю свой «ноутбук»…

Вздрагивает лиловая – в окне – веточка бугенвиллии…

Как описать ее, как передать легчайшую взвесь тишины, этот вздох, этот бесшумный прочерк воспоминаний?… Вот оно, мучительное и сладостное – Время соловья…

Школа света

Во влажной тьме аэродрома поливальная машина металлическим прутом воды сбивала наледь с крыла самолета.

Мартовской ночью вылетали в Амстердам, любимый нами город.

Когда-то, лет десять назад, мы впервые оказались за границей – в Амстердаме. Вышли из здания вокзала и увидели ряд старых домов над каналом – строй забулдыг, отбывающих пятнадцать суток за мелкое хулиганство. Особо старые дома кренились набок, приваливаясь плечом к соседу и – как похмельные – норовили выпасть из строя мордой об мостовую.

Словом, мы влюбились навсегда в эти огромные окна, жадно ловящие скудный северный свет, в тревожную дрожь отражений в водах каналов, в выплывающие из окуляров удвоенных в воде мостов кораблики и лодки; мы влюбились в свою первую заграничную свободу, в свое безденежное безумие дорогих кофеен на улице Дамрак, и с тех пор хранили верность нашему странствию номер один, заруливая – по пути ли, семь верст ли киселя хлебать, – в этот город при первой же возможности.

На сей раз возможность подвалила вполне рабочая: Ляйденский университет пригласил меня выступить перед студентами факультета славистики.

Как тут не упасть – хотя б украдкой, на день-другой – в объятия любимого города?

…И вот знакомые утки утюжками разглаживают зеленую кисельную воду канала. Велосипедисты подкрадываются незаметно, как хищники из породы кошачьих; степень неожиданности их появления такова, что кажется – они слетают откуда-то сверху, выпархивают из-под твоей подмышки и мчат вперед, не оглядываясь, со стрекозьим стрекотом спиц.

Пугаешься. Иногда вслед хочется запустить лаконичным и емким словом. А ведь напрасно: именно с переосмысления этого слова следует начинать общение с голландцами.

«Hui морген!» – приветствует меня утром хозяин нашей маленькой гостиницы. Я вежливо отвечаю: «Морген hui!»

Степень моей музыкальности и умение внедряться в новую среду, приобретая окраску местной фауны и флоры, таковы, что я немедленно начинаю отлично говорить на языке той страны, где оказываюсь. То есть я, конечно, не имею в виду действительное знание языков – в этом я абсолютно и даже торжествующе бездарна. Я имею в виду интонационный рисунок, артикуляцию, чередование пауз, ритмические волны вдоха-выдоха, присущие речи коренного населения.

При этом вставляю во фразу любые слова, которые придут даже не в голову… – не знаю, как назвать то место, куда они приходят, оно помещается где-то между кончиком языка и уздечкой…

И меня понимают!

Я утверждаю, что способна вести беседу на любом языке; но для этого мне необходимо оказаться в той местности, которая данный язык породила.

Возьмем нынешний приезд в Голландию.

Мы гуляем по набережной вдоль канала и решаем, что неплохо бы перекусить, скажем, какой-нибудь рыбой… Заходим в ближайшее кафе и, родственно улыбаясь официанту, я произношу что-нибудь вроде: «ду-ю-грахтн-ин ме-ню-у-э-фишн-блю-удн? – распевно-гортанно, с удовольствием.

Тут главное улыбаться и совершать полузаметные жесты, как бы рисующие в воздухе рыбку. Официант слышит во фразе международное слово «фиш», ухо его цепляет знакомые

слоги, жесты накладываются на звуки голоса… мгновение! – и смысл всей фразы вспыхивает в его мозгу безотносительно к смыслу каждого слова.

Мама говорит, что в детстве я часами могла щебетать на какой-то тарабарщине, уверяя, что это итальянский или испанский. Если я читала «Трех мушкетеров», то с утра до вечера отвечала на любой вопрос домашних «по-французски» – полной ахинеей, говорит мама: птичий посвист, имена улиц и площадей вперемешку с именами и титулами главных героев, – но поразительно похоже по звучанию. Посторонние пугались этого внезапного полиглотства.

Помню – первое утро в Иерусалиме: яркое солнце, вишневая накипь бугенвиллий на желтой крупнозернистой кладке стены во внутреннем дворике квартиры брата, куда накануне ночью, в проливной дождь, доставило нас из аэропорта маршрутное такси. Итак, утро, я одна в доме, ошалевшая и ослепленная – после ноябрьской слякоти Москвы – избыточной благодатью Средиземноморья, синевой, желтизной, буйной окраской невиданных кустов прямо в доме… Звонок в дверь. Меня забыли предупредить о вызванном накануне электрике. Он стоит в дверях и пытается что-то объяснить мне. Я улыбаюсь. Он повторяет, еще раз, показывает на плоский чемоданчик с инструментами в руках. Наконец я вспоминаю единственную фразу, выуженную моей безалаберной памятью из трех уроков иврита, на которые мне удалось попасть в Москве.

– Я не говорю на иврите, – произношу я, по-прежнему приятельски ему улыбаясь.

Он молча смотрит на меня несколько мгновений и наконец мрачно произносит:

– Ты ДА говоришь на иврите, сукина дочь!

* * *

…В первое же утро – приятное знакомство: голландская мышь в кофейне на улице Дамрак, в центре Амстердама. Мы сидели недалеко от входной двери, вдруг в углу под деревянными панелями увидали ее – любопытную, спокойную и доверчивую. Она просеменила к нам под стол, уперлась розовыми ручками о задник бориного ботинка, поднялась на лапки и долго обстоятельно обнюхивала кожу с видом дегустатора, от которого ждут произнесения сорта винограда и года выпуска драгоценного напитка. Борис сидел не шелохнувшись. Наконец она опустилась и покатилась под столиками, деловито снуя меж ботинками, сапогами, кроссовками.

– Не соблазнилась… – сказал Борис чуть ли не с сожалением.

– А я тебе говорила – не покупай дешевку!

…Огромные окна парадных комнат – они называются «doorzonkamers», «комнаты, пронизанные солнцем» – голландцы не занавешивают: «Нам нечего скрывать».

Наши приятели, супружеская пара из России, снимавшая в Ляйдене квартиру, рассказывали, как однажды, уйдя на работу, забыли раздвинуть занавески на окне. Удивленная и шокированная этим обстоятельством соседка позвонила хозяйке дома, та ринулась разыскивать своих жильцов на работе, а разыскав, долго распекала по телефону: как, мол, посмели не раздернуть шторы? Что люди могли подумать – что там, в квартире, происходит?!

– Да что, что могло там происходить?! – обескуражено отбивался наш приятель, – притон у нас, что ли, станок, печатающий фальшивые деньги?! Укрывательство трупа?!

– Порядочным людям скрывать нечего! – оборвала его хозяйка.

И, отпросившись с работы, виновник помчался домой – отдергивать занавески.

Сначала, проходя по тротуару впритык к высоким окнам, заглатывающим просторный кусок набережной канала, я, по своему писательскому любопытству, воровато косила глазом

внутрь комнат, пока не поняла, что эти хладнокровные голландцы не только не против того, чтоб их разглядывали в те минуты, когда они читают в кресле, смотрят телевизор, говорят по телефону или даже валяются на диване с кошкой или собакой, но и сами тебя с удовольствием разглядывают – мол, ну-ка, ну-ка, посмотрим, правильно ли ты идешь.

Я, со своей страстью к «театру жизни», и без того всегда глазею в окна, а тут еще уютный нарядный быт так привлекательно распахнут перед вами. В этом есть все же некоторое желание покрасоваться. Нация, посвятившая века обустраиванию своего очага, крепкого прочного дома, очеловечиванию холодного неприветливого пространства, – по праву гордится своими руками и хозяйской сметкой. Своим умением достойно жить.

– Однако… не слишком-то удобна эта ежеминутная демонстрация своей чистой совести, ты не находишь? – заметила я после очередной уютной комнаты с рядом высоких китайских ваз, где на диване валялся молодой человек, одной рукой листая журнал, другой задумчиво исследуя лабиринты собственного носа. – Есть ведь ситуации, когда хочется спокойненько наорать на кого-то из домашних, дать по уху собаке или сыну… Не говоря уже о внезапном порыве… хм-хм… любви, когда дети отвалят наконец из дому?!

– Вопрос не в приличиях, – отозвался Борис. – Это температура тела такая. Они не могут, как мы, совершать резких движений…

… В этот приезд мы наконец решили заглянуть в музей, на который раньше времени не оставалось.

Входишь в фойе Еврейского музея Амстердама и как-то теряешься: ты попал в странный лес лиц. Небольшие – 30х30, на высоких металлических подставках портреты выдающихся евреев всех времен и народов расставлены в алфавитном порядке по группкам… Не бог весть как намалеванные маслом на холсте, но вполне узнаваемые…

– Во кому-то халтурка обломилась! – заметил мой художник.

На каждую букву алфавита теснился небольшой, но плотный отряд великих евреев. Неизвестно, по какому принципу отбирались кандидаты. Ицхак Рабин стоял на подставке, потупив глаза, Шимон Перес бодро смотрел вдаль. Ариэля Шарона, однако, в пантеон не пустили. Да что там Шарона – Спинозы не было! – моего личного великого предка, – все еще держали его, отлученного, за оградой синагоги, высокомерные евреи… Зато белозубо скалилась Симона Синьоре… Элвис Пресли запрокинул голову с роскошной молодой шевелюрой, Альберт Эйнштейн был срисован с чинной канонической фотографии (не с той, с которой он дразнит Вселенную высунутым языком относительности).

Но доконал меня портрет одного парня на букву «J». Внешность – мне издалека показалось – страшно знакомая, хипповатая такая, неопрятная, с гривой спутанных волос… Я надела очки, подошла ближе: «Jesus». И для тех, вероятно, кому это имя ни о чем не говорит, пояснение буквами помельче: «Сыграл значительную роль в становлении христианства».

Мы еще погуляли немного запутанными тропинками этого дремучего, в каком-то смысле, леса. Ни Моисея, ни пророка Илии, ни родоначальника евреев – праотца Авраама – не отыскалось среди избранного шоу-народа.

– Может, не нашли сносных фотографий… – примирительно заметил Борис.

* * *

Еще до приезда мы намеревались, отчитав лекцию перед славистами, через Гаагу проследовать в Брюгге и там бросить якорь дня на три. Когда-то проездом мы провели несколько часов в этом игрушечном рае, были совершенно очарованы миниатюрными площадями, кукольными домиками Кая и Герды, косматыми битюгами, впряженными в опереточные экипажи, и сейчас жаждали отрешиться от всего в сказочной благодати.

– Отрешиться? – уточнила наша приятельница Лера, та, что, собственно, организовывала мою лекцию. – Да на черта вам в тот же день гнать из Гааги в Брюгге, что за срочность? Путь не такой уж близкий. И в Гааге не догуляете, и устанете, и в Брюгге приедете только к ночи. Заночуйте в Дельфте, это по дороге. Я знаю одну гостиницу шестнадцатого века, с кондитерской на первом этаже, – совершенно волшебную. Говорят, в ней Вермеер писал свою знаменитую «Девушку, читающую письмо у окна». Может, даже это здание и было его домом, они ведь с женой содержали постоялый двор… Там комнаты так и называются: «Питер де Хоох»… «Карел Фабрициус»… «Ян Вермеер»… Я закажу вам номер, ладно? Отрешитесь на все сто! А поутру и тронете в Брюгге, по холодку.

«По холодку» – это верно было замечено. Несмотря на солнечные дни, мартовский холодный ветер нагло обшаривал куртки, трепал заледеневшие уши, вышибал из носа слезу. Я представила себе теплый голландский дом к вечеру, камин, а лучше печку-голландку со старинными изразцами… уютную кондитерскую на нижнем этаже… И мы согласились.

И наутро двинули в Гаагу, зеленый приветливый город, более мягкий, более устойчивый, более округлый, чем Амстердам. Собственно, нашей единственной целью на этот раз был Маурицхейс – королевский дворец с его картинной галереей.

– Кстати, о Дельфте… – говорил Борис, поднимаясь по лестнице на второй этаж королевского дворца. – Где-то здесь должен висеть Вермееровский «Вид Дельфта».

В небольшом зале с полуопущенными шторами на высоких прямоугольных окнах плавал зеленовато-оливковый свет. Он обволакивал глаз, насыщал его, сливался со струящимися от картин золотисто-коричневыми тонами… Великолепные полотна голландских мастеров окружали нас: Герард Терборх, Герард Хаугест… Якоб Ван Рейн-сдаль… Натюрморты… Пейзажи… Интерьеры соборов и церквей…

– Подожди… – сказал Борис, придерживая мои плечи. – Стой так, не оборачивайся. Обрати внимание: все напоено этой излюбленной кирпично-оливковой гаммой малых голландцев. Видишь, вся живопись, весь цветовой арсенал художника зажат между двумя полюсами, заданными определенной гаммой. Немного пурпура, немного густой зелени, но в основном – это устрично-приглушенное спокойствие тона, устойчивая бюргерская жизнь цвета… А теперь смотри! – и он с силой развернул меня за плечи в ту сторону, куда распахивались двери в анфиладу нескольких залов, и со стены последнего шло безудержное сияние. Я даже не сразу поняла, что это и есть – картина. Мне почудилось – это вид в окне: в синем просторе тяжело шевелились облака – над шпилями церквей, над багряной черепицей крыш, над башнями, лодками, мостами, над колыханием бликов в воде, над желтой песчаной косой на переднем плане.

– Что это? – спросила я ошеломленно. Как будто вдруг очистилось зрение, будто содрали темные шторы с окна или сняли катаракту, что затушевывала мир тенями, и мы взглянули вокруг ясным, полноцветным, без затемненной оптики взглядом. Картина была навечно установившимся бытием. – Какое все… другое!

– Да! – сказал он торжествующим тоном, будто сам только что отложил кисть и отошел от мольберта, чтобы взглянуть на холст с нужного расстояния.

– Это Вермеер.

Мы медленно пошли туда, где продолжалась, длилась на полотне жизнь, более реальная, более наполненная просторным дыханием вечности, чем пейзаж сегодняшней Гааги за окнами дворца. И пока шли, Борис говорил о том, как четко художник разрабатывает фактуру: рыхло написанные облака, вода, дома; о точно найденном соотношении затемненных и освещенных частей, о пуантелистической – задолго до пуантелистов! – технике, которая создает некоторую вибрацию атмосферы и отражений в воде.

– …Все взвешено, рассчитано, найдены заполнения пустот, – бормотал он почти влюбленно, то приближая лицо к самому холсту, так что в явной тревоге привставала со стула старушка в дверях зала, то отпрянув назад, словно собирался бежать отсюда без оглядки… – Видишь, суть его искусства в математически точных соотношениях тональных масс, цветов, светотеней. Собственно, всю эту «материальность, вещественность» мира мы видим и у других голландцев, но тайна мастерства Вермеера в том, что, несмотря на точную, фотографическую передачу действительности, он заставляет нас не просто смотреть на это, а переживать состояние медитации. Поэтому его живопись – ошеломляет.

Я не вслушивалась, я вообще быстро устаю от наукообразности… Просто стояла и смотрела на освещенную солнцем колокольню Ньиве Керк и на ослепительный ряд черепичных крыш за ней, над которыми сейчас, сию минуту, всегда громоздились пузатые, самодовольные бюргерские облака.

– Слушай, а почему, собственно, его живопись настолько отличается от других голландцев? Откуда он взялся такой… неожиданный? – спросила я.

Мы уже сидели над озером за королевским дворцом. Солнечная пелена пара поднималась от поверхности воды. Две уточки-чонки, черные, с белыми кепками, сигали туда-сюда. Одна все купалась, прихорашивалась; другая, – а может, другой? – без устали трудился: глубоко нырял, потешно выставив зад, выныривал с какой-нибудь тряпкой, щепочкой, ветошью… оттаскивал это в клюве куда-то к своему тайнику и вновь выплывал на охоту…

– Он ведь, кажется, и родился в Дельфте, и прожил там жизнь…?

– Родился, прожил жизнь, торговал картинами… Наверное, и шелком торговал, как отец… вполне был трезвым человеком, коммерсантом. Очень мало картин написал – десятка три-четыре… Но в Дельфте его почитали, выбирали в правление гильдии святого Луки… Просто в середине XVII века в Дельфте появился Фабрициус, вероятно, искал заказов при дворе принца Оранского – он ведь и настенной живописью занимался.

– А разве Фабрициус в те годы не был учеником Рембрандта?

– Был, одним из лучших. И отлично ему подражал… И вдруг взбунтовался. Причем так, что уехал из Амстердама и до самой смерти с учителем не общался.

– А в чем была причина ссоры?

– Дело не в ссоре… Он восстал против палитры Рембрандта. Против темной, охристой, тяжелой палитры… против глубокой рембрандтовской тени… Приехал в Дельфт и создал свою школу, которую можно бы назвать «Школой света». Так вот, считается, что Вермеер был учеником Фабрициуса, возможно, потому, что и тот и другой проявляли интерес к оптическим эффектам и перспективе. Кстати, тот же «Вид Дельфта» выстроен Вермеером как фриз. Ты обратила внимание? – он «сдвинул» здания, мосты, башни, лодки – в один ряд. Вероятно, пользовался камерой-обскурой… Словом, и Фабрициус, и Вермеер работали с широкоугольными линзами и выпуклыми зеркалами. У Фабрициуса есть свой «Вид Дельфта с лавкой музыкальных инструментов». Там он намеренно создает эффект оптического искажения, для большей выразительности. В семнадцатом-то веке! Представляешь? Впечатление странное, смещенное, фантастическое… Как будто эта церковь, Ньиве Керк, ему привиделась… Сидит себе такой господин в широкополой шляпе, мало похожий на лавочника, тут же и лютня, и виолончель… И такое странное у господина лицо, словно он размышляет – а не послать ли всю эту жизнь к такой-то матери, да не повеситься ли мне, не отходя от лавки… А вдали, за переплетением каналов, – смещенная, будто сплюснутая Ньиве Керк со своей иллюзорной колокольней. И шпиль гаснет в облаке такого жемчужного сияния…

– И… он прожил в Дельфте до конца жизни?

– До конца-то было рукой подать. – Борис усмехнулся. – Он погиб буквально через несколько лет при взрыве порохового склада. Половина Дельфта взлетела на воздух…

– …О, Господи… представляю этот салют… – пробормотала я. – Вершина пути, ослепительная вспышка… Последний экзамен в Школе света…

…Белый лоскут одинокой чайки пронесся над озером, плеснул в воздухе и скрылся за башенками на высоченном скате черепичной крыши Маурицхерса.

* * *

В Дельфте очутились под вечер. От вокзала к городу шли пешком, ориентируясь на уже знакомую – по Вермееру – колокольню Ньиве Керк, напротив которой, судя по рисованному Лерой плану, и стояла та гостиница, где для нас заказан был номер.

Весь Дельфт оказался простеган каналами и, как корзинка, переплетен горбатыми мостками, на которые легко взлетали вездесущие велосипедисты. Город – эскиз Амстердама, – но уже каналы и набережные, ниже дома и фонари… Однако чувствовалась в нем та провинциальная безмятежность, отдохновение странника, которые напрочь отсутствуют в оживленной пестроте амстердамских улиц.

Солнце еще лежало на треугольных – ступеньками – фронтонах домов, на темно-красной черепице крыш.

Мы миновали два подъемных моста. Один – разводной; постояли, дожидаясь, пока грузовая баржа протащится по каналу, и едва дирижерские палочки шлагбаума стали медленно подниматься, под них нетерпеливо поднырнул мальчик на велосипеде.

Второй мост – отводной, действовал как бы на кронштейне. Целиком отворачивался на одной ноге; вытянулся вдоль берега, пропуская судно. Когда, подрагивая, он вернулся на место, велосипедисты первыми стремительно бросились вперед.

Наша гостиница, трехэтажное старинное здание, фасадом обращенное к Ньиве Керк, была похожа на все голландские дома: большие окна, высокие скаты черепичной крыши, и герань, герань… Герань – повсюду.

В крошечном фойе, отделенном высоким барьером от зала кондитерской, где на широком подоконнике спала в кустах красной герани рыжая кошка, за старомодной почтенной конторкой стоял высокий мужчина лет шестидесяти – курчавые седые волосы, горбоносое смуглое лицо… Вероятно, портье. А нам велено было искать хозяина, господина Сэмюэля Ван Лоу… На мой вопрос он ответил:

– Это я.

– Нам здесь заказан номер, – сказала я, не подав виду, что удивилась этакому контрасту средиземноморского типа внешности и голландского имени хозяина.

– Смотри, – Борис кивнул куда-то в сторону маленького зала кондитерской, где сидели две пожилые дамы, пили кофе с рогаликами. Я недоуменно взглянула на мужа: что примечательного увидел он в милых голландских старушках?

– На стене… какое совпадение…

Я перевела взгляд. Да, совпадение забавное – над столиком висела копия той самой картины Вермеера, «Вид Дельфта», перед которой мы простояли сегодня битый час в Маурицхейсе.

Пока я заполняла бланк анкеты и получала ключи, Борис, невежливо нависнув над божьими одуванчиками, изучал копию картины…

Я окликнула его, и, взвалив на себя сумки, мы потащили их – о, крутизна винтовых лестниц-скважин в голландских домах семнадцатого века! – на второй этаж, пыхтя и проклиная свое пристрастие к старине.

На дубовой двери нашей комнаты была привинчена табличка: «Карел Фабрициус».

– Очень мило…

– Все по теме, – сказал Боря, вставляя массивный ключ в замок. Я подумала – слишком уж по теме. Мой писательский нос с утра уже чуял то, на что – словно охотничий пес – был натаскан годами: еле слышимый аромат витавшего в воздухе сюжета.

Дверь открылась, и мы остановились на пороге. Люблю этот первый взгляд на новое мимолетное пристанище. Первый шаг в гостеванное пространство, которое хочется сразу обжить, хоть на сутки, хоть на ночь заполнить собой, превратить в свое убежище. В этой небольшой комнате было все, что так нравится мне в европейской старине: почерневшие, рассохшиеся балки потолка, криво подпирающие скошенный потолок, неровные беленые стены, большое окно, из которого выглянешь – привычное напластование черепицы, вымытый булыжник внутреннего дворика, старый фонарь и – волны герани, белой и розовой…

Борис свалил сумки на пол и рухнул на постель.

– А копия-то странная, – сказал он, – там, на стене…

Я с ожидаемым, надо сказать, удовольствием обнаружила электрический чайник на столе, и в корзинке – пакетики с чаем и кофе, две булочки, запаянные в целлофан, сахар, круглые плошки с джемом. Место было приличным, ничего не скажешь.

Я налила в чайник воды и включила его.

– Чем это странная?

– Понимаешь… С одной стороны, очень недурное исполнение. С другой стороны – весьма приблизительные цвета… Как будто художник писал не с картины, а с какой-то случайной репродукции… К тому же она потемнела от времени. Надо бы тому парню за стойкой сказать, чтобы протер холст луковым соком.

– Вот и скажи! – мстительно заметила я. Не владея ни одним языком, мой муж, как все мои близкие, был уверен, что я могу, если захочу, поговорить с любым иностранцем на любую тему…

После вечерней прогулки по городу ужинали в одном из ресторанов на Маркт – большой, веками обжитой площади, уютно обставленной старинными комодами-домами. В головах площади плыла, словно флотилию вела, Ньиве Керк, усыпальница королевской фамилии. На высоком круглом постаменте перед ней – огромный, сутулый и несуразный, в плаще до пят, – высился над площадью кто-то из первых здешних печатников, какой-то Гуго, выставив вперед острую бронзовую бородку, держа в руках огромный фолиант. Под фонарем блестела бронзовая пряжка на туфле танцевального фасона.

Ресторан, куда мы зашли поужинать, помещался в полуподвале одного из домов. За густыми переплетами окна, буквально на уровне нашего стола, у моего локтя плескалась вода узкого канала, в котором – в свете фонарей – утомленно плавали сонные утки.

Столы были накрыты коврами, как на картинах Вермеера, и тоже продолжались за окном, смутно волнуясь ворсистым ложем в колеблющейся воде.

– А знаешь… – вдруг сказала я, – неохота уезжать отсюда…

На столе перед нами в плошке горела желтая свеча, она тоже отражалась в окне, в плотной воде канала дрожащим теплым огоньком. Вся улочка с запертыми на ночь магазинами, кондитерскими, аптекой казалась от этого обжитой и уютной…

– А как же Брюгге?

– Ну давай раз в жизни поменяем планы…

– Да ты уже завтра заскучаешь! Мы за три часа обошли весь городок… Здесь ни музея, ни…

Он посмотрел на меня, пожал плечами…

– …Как хочешь…

Вернувшись после ужина на площадь, мы наткнулись там на крытые брезентом фуры с включенными огнями. В свете фонарей и фар молодые люди сгружали на землю длинные алюминиевые штанги.

– Что-то завтра здесь будет, – предположила я. – Надо бы в отеле спросить.

Перед сном мы еще заложили крюк подальше… Тихие пустынные набережные, скудное освещение, белые перила мостов – ряд вытянутых шахматных пешек – над тяжело мерцающей водой каналов…

На противоположной стороне улицы мы обратили внимание на спрятанное в маленьком дворе здание совсем не голландской, а скорее греческой архитектуры с треугольным портиком и голубыми – в свете луны – колоннами. Мне вдруг почудились на фронтоне знакомые буквы…

– Смотри, иврит!

– Откуда здесь иврит? Какая-нибудь греческая церковь…

Мы перешли по мосту на противоположный берег канала, и Борис взбежал по ступеням здания к запертым массивным дверям.

– Ты не поверишь! – крикнул он оттуда. – Это синагога. Судя по архитектуре, конец восемнадцатого – начало девятнадцатого…

– А почему бы и нет? Вероятно, до войны здесь была приличная община… как везде в Европе…

…За конторкой в гостинице стояла и писала что-то высокая старуха с суровым лицом, как бы собранным из нескольких стертых плоскостей. Вот уж в ее голландском происхождении сомнений не возникало…

Я поздоровалась, назвала номер комнаты. Она молча сняла с гвоздика ключ и передала мне.

– Госпожа… Мы хотеть… – несколько радостных гримас и обнимающе-пригласительные движения рук. – Циммер-грахтн-хотэл-три-дейс?… Это – да?

Знакомая оторопь на лице и столь же знакомый как бы щелчок включения смысла.

– Это – да.

– Скажи ей про картину, – подсказывает Борис рядом, – чтобы протерла луковым соком.

– Отстань! – огрызаюсь я.

– Ну почему? Ну что тебе стоит?

– Потому что я не знаю – как по-голландски будет «луковый сок»!

* * *

Утром проснулись от богатейшего перезвона колоколов на колокольне Ньиве Керк. Высокие звуки будто окунались в вязкую воздушную среду и гасли там, как спички гаснут в блюдце с песком. Низкие – тянулись, ползли, утробно выдыхали в небо гуды, как аллегорические щекастые ветра на картинах старых мастеров выдувают брандспойтовые струи воздуха.

Во внутреннем дворике, куда выходило наше окно, стоял холодный пар утреннего тумана…

– …Послушай, что играют, – спросонья пробормотал мой муж. Я прислушалась: вот это да! Колокола вызванивали «Ob-La-Di, Ob-La-Da…» – песенку нашей юности, исполняемую когда-то «битлами»…

– Это – в усыпальнице-то королевской фамилии, а? Между прочим, принцев Оранских… – он потянулся. – Хороший город!

– У вас сегодня так весело! – сказала я хозяину, на своем, разумеется, птичьем наречии. Он сам подавал завтрак: плетеная корзинка с круассанами и булками с маком, масло, джем, полный кофейник горячего кофе. Высокий голубой молочник с надбитым носиком.

– Воскресенье, – отозвался он по-английски. Его внешность по-прежнему интриговала меня: нездешние южные черты лица и голландская сдержанность в мимике. – Сегодня на Маркт – воскресный рынок, – добавил он.

…Над Дельфтом курился туман, легкий, воздушный, какой-то зефирный. Шпиль Ньиве Керк таял, таял, – петушок поблескивал в молоке облачков.

Воскресный рынок на Маркт уже обустраивался, складывался в самостоятельный городок. По периметру площади и вдоль домов расставлялись рядами столы, крытые поверху полосатыми и темно-зелеными навесами. Из открытых спозаранку кафе и ресторанов официанты выносили, позевывая, на улицу столы и стулья.

С колокольни безудержно катились звоны, концерт все длился, Баха сменял Букстехуде, за ними – не смущаясь – запряженное тройкой малых колоколов, выплывало какое-нибудь известное танго и совершало шикарный танцевальный круг над черепицей, сизой от нежной туманной мороси.

Часа через полтора туман рассеялся, рынок загалдел, зашумел, мягкое солнце затопило старинную площадь…

Ропот великого торга возносился к шпилям и колоколам.

Вот тут являла себя нынешняя разноплеменность Европы: китайцы, вьетнамцы, таиландцы, арабы со своим поистине международным барахлом, столь привычным сейчас на рынках разных стран, вершили счет носкам, трусам, темным очкам, брелкам и чашкам… Отдельным рядом тянулись столы со старьем и среди прочего – великолепная и дорогая керамика Нидерландов потертыми, иногда склеенными голубыми боками ловила мягкие солнечные блики.

В съестных рядах торговали сырами, медом и сластями – круглыми пористыми бельгийскими вафлями, меж слоями которых намазывали шоколадный крем, сгущенное молоко, джем – в зависимости от того, насколько рот отваживался ухватить это многоэтажное великолепие.

Мы к тому времени успели уже выпить кофе, совершить очередной круг по маленькому центру Дельфта, и решили вернуться на площадь, с которой доносился разбитной и жалостный одновременно звук шарманки.

Из глубокой тени кирпичного ущелья меж двух высоких домов мы как в раме увидели в прямоугольном просвете, рассеченном вверху надвое навесным фонарем, высокий дом на Маркт, выбеленный солнцем, с заплатами бордовых ставней. И фонарь, и тренога, вынесенная перед рестораном, и маленький синий «фольксваген», и полосатые навесы, и фургон с лошадкой – все было залито прямым ликующим светом…

Лошадка была рыжей, с золотисто-промытой, как у старательной пятиклассницы, гривой. На платформе-колеснице, в которую она была впряжена, воздвигнут был… теперь надо как-то описать, как-то назвать это сооружение… Балаган-шарманка, вот как я это назову!

Итак, сама шарманка была вставлена в вырезанный из дерева и ярмарочно раскрашенный театр величиной с небольшую карету. В окне кареты, за которым виднелись нисходящие по высоте трубы органчика, стояли фигуры трех кавалеров елисаветинской эпохи – в цветных панталонах, в чулках, в туфлях с пряжками и, главное, в треуголках на буклях пудреных париков.

И чего только не было на барочном фронтоне данного произведения кондитерского искусства; кондитерского – потому, что оно напоминало огромный торт: там были гроздья винограда, выпуклые листья причудливых растений, портреты обольстительных дам и даже

– обрамленный листьями и плодами – пейзаж с оливковыми деревьями в голубой долине… Музыку это заведение выдавало совершенно трактирную, карусельную, площадную… Словом, шарманочную.

Вокруг повозки толпилась восхищенная публика. Дети старались потрогать бисквитные на вид красоты райского экипажа, кто-то кормил лошадку орехами, а сверху, с колокольни, все лились секвенции баховских прелюдий, не смешиваясь с механической гармоникой ярмарочного передвижного балагана внизу.

Я не сразу услышала сигнал мобильного телефона, а включив его, не сразу поняла – кто говорит. И только выбравшись из толпы различила голос нашей приятельницы.

– Ну, как вы там, в нашем Дельфте, – кричала она в третий раз, – вот собираюсь подскочить к вам сегодня, пообедать.

(Она жила в маленьком городке между Дельфтом и Ляйденом, минутах в сорока езды от нас – вполне «европейский перегон, человеческое расстояние», как говорит один мой американский друг, так и не приспособившийся к дистанциям тамошних хайвеев…)

* * *

Мы встретились с ней ближе к вечеру у высокой бронзовой тумбы с памятником таинственному незнакомцу в танцевальной обуви. Ярмарочное веселье уже сворачивалось, разнималось на шесты, столы и ящики, скатывалось в брезентовые штуки, грузилось на фуры… И пока мы обедали все в том же полуподвале с таинственно и уютно плещущей водой канала за переплетами окна, почти у самого локтя, фуры уехали, и площадь была убрана, как гостиная после ухода шумной и нетрезвой компании.

Мы немного еще погуляли втроем вдоль каналов. Нас обгоняли одинокие велосипедисты: промчалась старуха в элегантном плаще, азартно крутящая педали, следом покатили четверо мушкетеров стайкой – три мальчика и девочка лет шестнадцати. Она-то как раз и походила на Д'Артаньяна. Сидели на высоких седлах, спины держали прямо, только некоторая неподвижность бедер, вернее, механистичность их движений, отличала велосипедистов от наездников…

И, как бывает неяркой холодной весной ближе к закату, ощущалось особое состояние воздуха, освещения, – когда мягкое солнце, задерживаясь на черепице и цепляясь за верхние уголки ставен, кажется – по контрасту с глубокими синими тенями на земле – таким нестерпимо ликующим, а отражение в водах канала – потаенным и особенно проникновенным. Так кисть художника, окунувшись в воду, легко и быстро трогает вихри голых ветвей на листе, волнующиеся в воде канала отражения домов, печных труб, высоких большеголовых фонарей у мостов и, главное, небо, небо, полное милосердного смысла, цветом более даже настоящее, чем эмалево плоское небо вверху… И вода стекает кривыми дорожками по листу, добавляя в акварель воздух и свет.

В такое время года попали мы в Дельфт, маленький старинный город Голландии, в котором некогда, довольно короткое, впрочем, время, два-три художника пытались поймать в широкоугольные зеркала и линзы грани этого ускользающего мира, рассмотреть в камере-обскуре этот трепет теней, блик на жемчужной серьге в атласной мочке юного ушка и блеск северного неба с торжественной поступью тяжелых облаков…

– Вот… – сказал Борис, останавливаясь на мосту у антикварной лавки, увешанной медной посудой, лампами, каким-то милым барахлом… – Вот, глядите: отсюда Фабрициус писал Ньиве Керк. Здесь, на этом месте, и стояла лавка музыкальных инструментов, сидел задумчивый господин в черной шляпе…

– …Именем которого названа наша комната в гостинице.

– Кстати! – встрепенулась наша приятельница. – Мне бы надо зайти, поприветствовать Марию и Сэмюэля, не видала их целый год…

– А ты с ними хорошо знакома? Она рассмеялась:

– Лучше некуда – по судебным нуждам. Я как переводчик вела несколько дел в здешнем суде. А они судились с одним клиентом, из наших… И… не помню уж деталей… как-то разговорились, познакомились, а потом подружились. Если заседания тянулись долго, они оставляли меня ночевать. Особенно зимой и ранней весной, когда дороги скользкие, а туристов негусто…

– Он несколько угрюм, ты не находишь?

– Нет, что ты, он порядочный и милый человек. А то, что не лыбится ежесекундно, так это ж тебе не Америка. Истинно голландская сдержанность.

– М-м-м… да?

– Вообще, семья у них удивительная! – продолжала она. – Во время немецкой оккупации Мария с отцом прятали в подвале шестерых евреев, из дельфтской общины, тут недалеко у них синагога была… Причем один из них был местным раввином, и старик Ван Лоу, истый христианин, протестант, каждый вечер спускался в подвал, чтобы вести с тем религиозные диспуты. Мария говорит – оба горячие, так спорили, так бились, дело чуть до драки не доходило! Просто крестовые походы какие-то… Она ужасно боялась, что кто-то услышит…

– Странно… у нее такое замкнутое лицо… – сказала я, – ни за что не подумаешь…

– Ну, она тогда девчонкой была, и, между прочим, под страхом смерти воровала в комендатуре продовольственные карточки. Надо же было всех этих нахлебников как-то кормить…

– И… эти люди остались живы?

– Кроме одного, художника… Он был очень молод и очень болен, не помню чем… прямо там, в подвале, и умер… Это мне даже не Мария рассказывала – она не любит говорить на эту тему, а ее сын, да и то как-то мельком…

Она привычным жестом потянула на себя входную дверь гостиницы и с порога кинулась обнимать госпожу Ван Лоу, быстро, радостно что-то приговаривая по-голландски. Та улыбалась в ответ, явно была рада встрече. Из задней комнаты на зов матери вышел и хозяин – снова улыбки, возгласы… стихия чужого языка: отрывистые, рубленные звуки – хруст корабельных мачт, стук топоров, харканье усталых плотников, пересыпанные воздушным, вполне цензурным здесь выдохом: «hui».

Мы уселись за стол, хозяин принес кофейник и молочник, расставил чашки… И присел рядом. Некоторое время они с Лерой оживленно переговаривались. Вдруг та спохватилась, стала о нас ему рассказывать – мол, путешествующие писатель и художник из Израиля…

– Вот и отлично, вот и переведи ему, – сказал Борис, наконец дорвавшийся до темы, – чтобы освежил ту копию Вермеера. Она потемнела от времени… Это просто: выжимается луковый сок…

Она подробно перевела. Хозяин кивал, внимательно слушал… Потом что-то сказал.

– Он говорит, что уже беспокоился и даже показывал картину реставраторам. Дело в том, что она была написана в подвале, во время войны… Сэмми, кем написана, почему в подвале?

Хозяин, все с тем же невозмутимым выражением на лице, объяснял что-то минуты две. Наша приятельница ахала, восклицала, издавала губами пыхающие и харкающие звуки.

– Представляете: копия написана при свете свечей, тем самым молодым художником, о котором я только что вам рассказывала. Репродукцию раздобыла для него Мария. А у того

в этюднике каких-то красок не хватало… но он все равно не мог не писать… Работал до самой смерти… Это единственная о нем память…

Снова она повернулась к хозяину, что-то уточняя…

– Скажи ему, что в Израиле есть музей памяти Шести миллионов погибших. И тем, кто спасал евреев во время войны, присуждают звание Праведников мира… Мы можем сообщить о его матери, ее вызовут, оплатят проезд, она посадит дерево в Аллее Праведников… – это очень трогательная церемония…

Она перевела…

– Скажите ей сами, – коротко ответил он, извинился, поднялся и направился к конторке: в отворившуюся дверь отеля чета пожилых туристов проталкивала чемодан на колесах размером едва ли не с конторку.

Минут через пять к нам вышла хозяйка и повторилась церемония представления – писатель и художник из Израиля… и так далее… Госпожа Ван Лоу поднимала брови, благосклонно кивала. Я попыталась представить ее молодой, совсем девчонкой, ворующей в комендатуре продовольственные карточки для шестерых опасных нахлебников в подвале… А ведь она не только карточки для них воровала, подумала я, она за ними и ведро выносила…

– Дорогая госпожа Ван Лоу, – сказала я по английски… Дальше переводила Лера, и я видела, как с каждым словом лицо старухи замыкается, словно где-то в тайниках задвигаются ящички, запираются на замок, и ключ упадает на дно колодца.

– Нет! – наконец проговорила она. – Я знаю, есть люди, которые обеими ногами становятся на давнее свое добро, чтобы казаться чуток повыше… Я не из таких. Та история – мое личное дело, моя судьба. Я не хочу награды за судьбу.

– А тот парень, художник, – встрял опять Боря, – спроси-ка ее, – он только копию Вермеера успел написать? Бывает, когда нет натуры, художник пишет автопортрет…

– Там было темно. В подвале-то… – ответила госпожа Ван Лоу сухо. – И он вскоре заболел…

– А фотографии не осталось? – вдруг спросила я, имея в виду все тот же музей, собирающий по крохам наследие нашего неохватного, неподъемного горя. И осеклась, и пожалела сразу, что задала этот вопрос, словно в нем таился непроизвольный, невесомый, как вздох, смысл, который лишь подразумевался в этих стенах.

Она покачала головой, вдруг улыбнулась едва заметно и властно и подняла глаза туда, где за конторкой вписывал что-то в анкеты и выдавал клиентам ключи от комнат ее немолодой сын – высокий, с курчавыми седыми волосами, горбоносым нездешним профилем… Я проследила ее взгляд и обернулась к мужу, который – как это часто с нами бывает – смотрел в ту же сторону, что и я.

Мы встретились глазами и тихо, одними губами, он приказал мне: – Молчи!

А Лера обняла госпожу Ван Лоу, чмокнула в щеку, и затем прозвучали две фразы, вопрос и ответ, которые я поняла без перевода:

– Как же его звали, беднягу?

– Какая разница… – отозвалась старуха отрешенно. – Его звали Сэмми… Сэмюэль…

* * *

Мы провожали нашу приятельницу в глубоких сумерках. Долго искали площадь, на которой она оставила свою машину, наконец нашли. Странно: исходив вдоль и поперек крошечный Дельфт и выучив его за два дня чуть не наизусть, в последний вечер мы вдруг открыли эту чудесную, правильной четырехугольной формы площадь, которая словно пряталась от нас…

В центре ее стоял памятник корове. На колонне, раскрашенной под черно-белую коровью масть, четырьмя ногами на перевернутых ведрах стояла буренка, щедро размеченная по линиям разделки туши и раскрашенная синим, желтым и красным цветом. Склонив рогатую голову набок, она вот-вот готова была пуститься отчебучивать копытами по ведрам отчаянный степ. Это была веселая корова, провозвестница нового искусства новых голландских мастеров.

По периметру всей площади, приютившей группки молодежи, мягко светились окна баров и ресторанов. И окна вторых этажей были освещены приглушенным светом ламп, почти везде – красных.

– Если уж вы не поехали в Брюгге и так хотите вернуться в Амстердам, – говорила наша приятельница, усаживаясь в машину, – давайте, по крайней мере, заглянем по дороге в Шхевенинген… Там чудно, там такой вид на море!.. Завтра в девять чтоб сидели внизу, на своих котомках…

… В одном из угловых домов – возможно, это был бордель, – потолок в комнате на втором этаже, затянутый алым полотнищем, провисал, как парус в воде. И весь дом от этого сочился изнутри алым, пунцовым светом, таинственным светом ночной мистерии изливался он на людей внизу, даря предвосхищение праздника, и вся укромная площадь в центре Дельфта, вместе с пляшущей на ведрах коровой, казалась и праздничной, и таинственной, и греховной…

* * *

Утром мы простились с Дельфтом и поехали в Шхевенинген, на побережье, недалеко от Гааги.

Но при въезде в Гаагу на нас вдруг опять опустился вязкий туман, так что Лера с трудом вела машину и дважды останавливалась свериться по карте. А в Шхевенингене вообще не оказалось моря. Оно утонуло в плотной белесой пелене. И знаменитое здание Курхауса, величественное, огромное, тоже было упаковано в туман, как гигантская посылка перед отправкой неведомому космическому адресату.

Наша приятельница сокрушенно вздыхала: «Не повезло!»

Она так хотела, чтобы мы посмотрели на Северное море.

Мы пытались успокоить ее, говорили, что уж нам-то, живущим в стране трех морей и еще одного, Галилейского, – не больно приспичило пялиться в очередные морские дали. Подумаешь!

Все-таки спустились по величественной лестнице Курхауса на почти пустынный пляж, сели за столик кафе и заказали харинг, местную знаменитую селедку, нежную и сырую, как туман, и совершенно несоленую, почти сладкую, как взбитые сливки…

Неожиданно Лера заговорила о судебном деле, в котором сейчас принимала участие как переводчик. Судили сына, который помог безнадежно больной и страдающей матери покинуть этот мир. Мы заговорили об эфтаназии.

– Сейчас в европейском обществе постоянно обсуждают этот вопрос – о добровольном уходе из жизни… Я читала, что изобретен такой аппарат, для комфортного самоубийства или умерщвления безнадежно больного. Он надевается на голову, внутрь пускается какой-то газ, и человек медленно засыпает… И ничего не чувствует. Ровным счетом ничего… Просто меркнет свет, вот и все… – Она повторила задумчиво, размешивая ложкой сахар в чае: – Просто меркнет свет… И вроде скоро этот аппарат поступит в продажу в аптеки.

– И что, каждому желающему его продадут? – спросила я.

– Нет, – предположил Боря, – только по рецепту врача…

Мы заказали еще по порции харинга…

– Ну надо же – как не повезло! – опять вздохнула она, – так и не увидите моря. А ведь в двух шагах!

Море действительно расстилалось в нескольких десятках метров от нас. Из-под тяжелой завесы тумана виден был только гребень ближайшей волны, крученым канатом бьющей о мокрый песок. Так прачки отбивают тяжелый жгут пододеяльника…

А в центре этого тяжелого занавеса светился меловой круг, словно там, позади него, кто-то держал лампаду и медленно поднимал ее все выше…

Вдруг из стены тумана выехали три всадника. Вернее, они плыли в тумане вдоль кромки волны. Две лошади шли голова к голове, третья опережала их на полкорпуса.

Я не удержалась и совершила то, чего стараюсь никогда не делать в присутствии посторонних, за беседой или в гостях, – достала блокнот и, пока наша приятельница разделывалась со второй порцией харинга, воровато вписала в него быстрыми закорючками: «Жемчужный день – туман – три всадника из моря – широкая полоса песка, как у Вермеера в „Дельфте“… – Разговор об эфтаназии… – девочка и молодой художник… – Как и когда успели они… – голландская сдержанность в горбоносом лице их сына – (продумать)…»

И торопливо опустила блокнот в карман куртки, как украденный коржик…

Уже поднявшись по широкой лестнице к Курхаусу и напоследок обернувшись к морю, мы увидели: плотные кулисы тумана, похожие на традиционный занавес в картинах малых голландцев, стали медленно и величественно раздвигаться. Вероятно, солнце поднялось настолько, что его лучи, направленные сверху, прожгли толщу ватной влаги, пронизали и высушили воздух…

Такого я еще не видела никогда: медленно разъезжались кулисы тумана, и на авансцену моря обрушился торжествующий свет, под которым вспыхнула гигантская морская линза, вселенская камера-обскура, кладовая слепящего северного света…

* * *

И вновь стаи летучих велосипедных голландцев бесшумно выпархивают по трое, по пятеро откуда-то из твоей подмышки и сигают туда и обратно поперек трамвайных путей, как летучие мыши.

Стрекот велосипедных спиц, крики чаек, кряканье уток.

Дом, острым плечом разрезающий небо в переулке…

На сей раз наша приятельница сняла нам комнату в квартире, которую занимала некая колоритная особа – писательница и художница.

– Вам будет интересно. Она забавная… И к тому же творческий человек…

Хозяйку квартиры звали как-то диковинно – не то Хамураппи, не то Мабуту… Происходила она с острова Ява и весь антураж фантастически, как-то специально неудобной ее квартиры навевал сны о Яве или еще каком-нибудь экзотическом острове.

Дверь в квартиру прямо с улицы открывалась в крошечную, размером с большой таз, прихожую, из которой высоко вверх, как мачта, поднималась совершенно вертикальная лестница со ступеньками настолько узкими, что ногу на них надо было ставить не боком даже, но на ребро ступни.

Вся квартира была увешана масками, уставлена фигурками африканских деревянных божков, повсюду висели какие-то бусы из зубов, подозрительно смахивающих на человеческие, связки иссиня-черных и седых скальпов…

Когда мы втащили по корабельной этой лесенке свои чемоданы наверх, Боря присел на шаткую раскладушку, на которой нам предстояло провести две последние ночи, оглядел стены, полки и сказал:

– Черт-те что! Глянь-ка: дверь в этом сеттльменте запирается?

Она горячо хотела с нами общаться, на каком угодно языке: голландском, испанском, ее родном наречии… Тогда на английском – что, тоже нет?

Немедленно продемонстрировала экспонаты своей выставки, которая вот-вот должна была открыться в одной из галерей: она помещала в небольшие рамки под стеклом свои, сбереженные матерью, детские трусики и маечки; мать шила их из материи, которой обивались посылки, прибывающие на Яву из Европы… На старой коричневой, выбеленной ярким светом фотографии мать – красивая белая женщина испанских, так по виду, кровей, – сидит на террасе в шезлонге. За ней – пальмы, песчаная коса, жемчужное кружево лагуны. В разговорах хозяйки о детстве на острове Ява – по тому, что уловила я даже не слухом, а наитием, – проскальзывало что-то надрывное.

Она говорила по-английски быстро, горячо и гладко. Не сомневаюсь, что так же быстро, горячо и гладко она бы говорила на любом из предложенных языков. (Что это сотворили с нами в нашем детстве, что родной наш язык обернулся драконом из сказки, охраняющим вход в пещеру разноязыких сокровищ…)

Потом она продемонстрировала свою книгу, изданную на голландском. Все те же воспоминания о детстве на острове Ява – видно, что это камертон всей жизни, источник, ее питающий, изначальный свет.

Я сказала, что тоже пишу книги, но по-русски. Она, кажется, не поверила, во всяком случае, я бы на ее месте не поверила, потому что сдуру я ляпнула правду – что у меня вышло больше сорока книг.

Она простодушно сказала:

– Смотри, как интересно: я не могу прочесть то, что пишешь ты, а ты не можешь прочесть то, что пишу я…

Наконец нам удалось укрыться в своей комнатке. Когда мой религиозный муж надел для молитвы талес и тфиллин, хозяйка вновь вознамерилась пообщаться. На ее стук я приоткрыла дверь, и она увидела Бориса в странной белой накидке, с черной коробочкой во лбу, с голой левой рукой, перевязанной кожаными ремешками…

Я приложила палец к губам и сказала ей:

– Мой муж… – тут я, конечно, забыла слово «молится», – …мой муж разговаривает с Богом!

Ее лицо вытянулось, на нем отразилась целая гамма чувств: благоговение, смятение на грани легкого ужаса и понимание: чужой шаман приступил к камланию, мешать опасно.

Думаю, на ночь и она от нас запиралась. Кажется, и она и мы опасались, что съедим друг друга.

* * *

Утром в день нашего отъезда она постучала и вошла в комнату – в плаще, в ботинках…

– Надо идти! – сказала торжественно.

– Но… еще рано, – пробормотала я, продолжая судорожно расчесывать волосы на затылке. – Такси заказано на девять тридцать.

– Одевайтесь! – повторила она настойчиво. Тон был приподнятый, как у пионервожатой перед первомайским парадом.

– Слушай, она совершенно чокнутая! – сказал Борис куда-то в сторону окна. Он только что намазал джем на булочку и еще не успел ни глотка отхлебнуть из чашки.

Абсолютно не понимая, зачем надо выходить на улицу в девять, когда такси заказано на девять тридцать, мы все же подчинились.

Она нахлобучила на голову вязаную шапочку швом наперед, и под грузом чемоданов мы сверзились вниз, в прихожую, по корабельной мачте, которую она считала лестницей.

Раннее утро не в самом респектабельном районе Амстердама, после бурных ночных гулянок: мусорные, не убранные мостовые, спущенные жалюзи и решетки на витринах магазинов, отчего улица, и без того не слишком приглядная, имела какой-то полуслепой вид. Мабуту… или как там ее звали… – Харакири? – целеустремленно шагала по тротуару куда-то прочь от дома. Мы поспевали следом…

Я нервничала и, мило улыбаясь, пыталась выяснить на своем английском – зачем и куда мы идем… Она отвечала что-то невнятное с мечтательным выражением на лице… Иногда притормаживала и поводила рукой в сторону рассветного неба.

Тут еще надо учесть нашу с Борей деликатность и стремление быть приятными с чужими людьми.

– Куда, черт возьми, она нас тащит?! – с приветливым выражением на лице спросил мой муж. – Не сдать ли ее полиции?

– Сдай, – заинтересованно кивая в ответ на длинную ее тираду, предложила я.

Вдруг на середине бесконечной этой улицы она рявкнула: «Стоп!», совершила резкий полукруг и повернула обратно. И точно так же, абсолютно ничего не понимая, мы потащились назад, к дверям ее квартиры, где нас уже ждало такси.

– Это прощание с Амстердамом! – сказала она, с улыбкой глядя, как запихиваем мы в багажник наши сумки. – Я хотела, чтобы вы имели удовольствие от утренней прогулки. Здесь по утрам так много света!

* * *

В самолете в креслах позади нас сидели двое молодых и, по-видимому, очень успешных российских бизнесменов. В полете они изрядно выпили; возможно, поэтому беседа их вскоре приобрела характер размышлений о жизни вслух… Один был настроен критически, другой его как-то уравновешивал, призывал к согласию и мудрому смирению перед жизнью.

– …Лепят мне байки о каких-то польских князьях в роду… – бормотал тот, в чьем голосе чувствовалась горечь. – А я говорю – гониво это, гониво!.. Вот смотри, все эти три дня здесь я наблюдал, Сеня, я наблюда-а-ал! Вот этот, который, допустим, какой-нибудь Ван Хандер-Бындер… Он здесь живет, да, и все знают, что он здесь веками жил, что он сын и внук тех самых Ван Хандер-Бындеров… Чистокровность, Сеня, достоинство, непрерывность… ой, извини! – рода… А мы, Сеня, мы же свою родословную не знаем. Вот кто я, кто?!

Другой ему терпеливо отвечал:

– Ну-у… что ты не всасываешь эти вещи? Нас же там, типа, уничтожали, народ наш, конкретно уничтожали…

И не умолкали они до самой посадки.

Мы же молчали всю дорогу, весь путь в высоте, иногда только поглядывая в иллюминатор, где под высоким солнцем плавились и таяли облака – бесконечная, лучезарная школа света.

Вилла «Утешение»

Рине Браиловской

Случилось так, что в начале той осени, в день своего рождения, я проснулась в Риме, в отеле на виа Систина, – как всегда, в пять тридцать утра.

Сначала я неподвижно лежала, следя за тем, как вкрадчиво ползет по высокому потолку стебель солнечного света, и думала: я счастливый человек, мне пятьдесят, у меня живы родители, и я в Риме…

Мне пятьдесят, думала я, осторожно поворачивая так и сяк новую эту, оглушительную дату, я счастливый человек, я написала кое-какие книги… мои дети при мне, и родители живы, и мне пятьдесят, и я – в Риме, я в Риме, я в Риме!

Накануне мы с моей подругой, которая спала сейчас на соседней кровати, заблудились в парке виллы Боргезе. Сначала бродили по аллеям, спланированным некогда лучшими архитекторами Италии, между стволов головокружительных пиний, говоря о таких вещах, о которых даже с близкими говоришь, только оказавшись вне обыденного круга; затем, уже в сумерках, спохватились, что не понимаем – куда идем, бодро направились в противоположную сторону и оказались в какой-то глухомани с безответными белоглазыми античными статуями…

И не испуганные еще, но иронически растерянные, наперебой пустились выуживать из памяти гумилевские строки:

– «В аллеях сумрачных затерянные пары /Так по-осеннему тревожны и бледны, /Как будто полночью их мучают кошмары…»

Четвертая строка не давалась, не шла, а между тем нешуточно темнело, нас обнимала зловещая, как чудилось, тишина… Тогда две встревоженные дамочки потрусили наугад куда-нибудь…

– «Здесь принцы грезили о крови и железе, /А девы нежные о счастии вдвоем, /Здесь бледный кардинал пронзил себя ножом…»

И правильно сделал, сукин сын, заметила моя подруга, прибавляя шагу, – вымогатель, вор, бандит, вся эта коллекция картин на вилле – неправедное имущество… Я возразила, поспевая за ней, что это мог быть и другой кардинал, не Сципионе Боргезе… Все они одним миром мазаны, отвечала та, все бесстыдно обирали художников…

Мы покружили еще в «аллеях сумрачных», накапливая паническую усталость, пока наконец не вышли к смутному за деревьями просвету, откуда слабо доносилось шевеление электрической туши огромного города.

– «Но дальше, призраки! /Над виллою Боргезе /Сквозь тучи золотом блеснула вышина, /То учит забывать встающая луна…»

Луна, как выяснилось, уже встала – мраморная римская луна, фрагмент археологической добычи. Мы спустились с холма и минут через двадцать вышли на пьяццу де Треви, к легендарному фонтану, вокруг которого не протолкнуться было от туристов.

Из мягко подсвеченной арки Академии святого Луки по-хозяйски выступал мужиковатый Нептун, в гигантскую раковину которого впряжены были плавно рвущиеся вперед морские кони Николы Сальви. И вся эта совершенно театральная сцена гудела, жужжала, рокотала водой, прикатившей сюда по древнему акведуку, сооруженному еще полководцем Агриппой задолго до нашей юной эры, в – страшно выговорить! – девятнадцатом, опрокинутом в вечность, столетии, звучала голосами, музыкой, детскими возгласами…

Становясь к фонтану спиной, туристы через плечо кидали в воду монетки…

…Бледный солнечный побег достиг наконец гардин и стал медленно прорастать сквозь синюю ткань… Я тихо поднялась, оделась и, стараясь не лязгнуть ключом, вышла из номера.

Подслеповатая, из-за опущенных жалюзи, виа Систина с медленным скрипом приоткрывала то один свой глаз – кондитерскую, то другой – продуктовую лавку… На углу зеленщик выкладывал из корзин на прилавок влажно вздыхающий товар…

Я пошла наугад, почти наощупь, как в детстве: со слипшимися от сна глазами бредешь в январском рассветном студне в гостиную, чтобы первой нащупать под елкой подарок… – и минут через десять оказалась все у того же фонтана Треви.

В слабом растворе утреннего солнца было особенно заметно, сколь невелика эта, пустая сейчас, площадь, и как светла, как грандиозна восставшая из недр ее скульптурная группа с крылатыми морскими конями и опоясанным летучими складками Нептуном, мускулистой ногою ступившим на гребень раковины… Мерным шумом потоки низвергались в бассейн фонтана, – все было ополоснуто отраженными волнующимися бликами.

Под недреманным оком карабинеров, скучающих на ступенях вокруг фонтана, по колено в воде крутились двое рабочих в куртках и резиновых сапогах. Граблями сгребая россыпи монет, они возделывали длинную блес-кучую змею, вьющуюся по голубому дну фонтана, после чего наполняли бредни рыбьей чешуей монеток и ссыпали в пластиковые мешки… – муниципальный улов во славу процветания Вечного Рима.

…Живая паутина света металась по напрягшимся торсам возничих, сдерживающих вздыбленных коней среди скал, по мраморной тунике Нептуна, по мощно вылепленным икрам его царственных ног…

Завтракали мы на террасе, зажатой меж черепичными крышами более низких соседних домов, между балконами, увешанными подштанниками и детскими рубашонками. Поверху терраса была перекрыта виноградными лозами с целой бурей узорных листьев, сквозь которые солнечный свет проникал и шевелился, ежесекундно рисуя, сметая и вновь рисуя иероглифы на белых скатертях.

Уже через полчаса Рим пробудился: там и тут все чаще раздавался треск мотоциклов, разноязыкий говор, надсадные крики торговцев – шумы великого города. И когда я возвращалась в гостиницу, – надо было собрать дорожную сумку, позавтракать, расплатиться, – гром мотоциклов уплотнился, окреп, взлетая к высоким, как черные облака, кронам вечных пиний. Блеск пальм, витрины роскошных бутиков модных дизайнеров… – вокруг расстилался Рим в его незыблемом великолепии.

Завтрак здесь подавали «континентальный», то есть скудный и скучный – все тот же неистребимый круассан с маслом и повидлом, и кофейник, один на двоих.

– …Так вот, она влюбилась в него по уши, и когда забеременела, тут на минуточку и выяснилось, что он не может оставить жену.

– Почему?

Мы продолжали говорить о неведомой мне Марии, с которой предстояло познакомиться… Вообще всю эту поездку, вернее, этот авантюрный финт в сторону, придумала и разработала моя подруга – страстная, легкая на подъем путешественница. Узнав, что меня пригласили в Мюнхен участвовать в очередном «круглом столе», посвященном очередному неразрешимому вопросу русской литературы, она уговорила меня по пути назад «тормознуть» в Риме и дня на два махнуть в Сорренто, где ее знакомая, та самая Мария, держала недорогой пансион в старой дедовой вилле, на высокой скале, над заливом…

– … А он ее тоже любил?

– Судя по всему, да… Но ты же знаешь мужчин… Они либо трусы, либо корчат из себя благородных… Да нет, конечно, любил, и любит… Он работал здесь в какой-то фирме, они познакомились, и он потерял голову… Ты увидишь, есть в ней такой итальянский шарм… Но у жены, которая оставалась в Хайфе, обнаружили Альцгеймер, ну, и он не смог «совершить предательства», вернулся в Израиль… Типично мужская логика – если б он бросил жену здоровой, это бы предательством не считалось… Мария какое-то время металась, приезжала к нему, возвращалась опять сюда… В один из таких ее налетов мы случайно познакомились на фестивале клейзмеров в Цфате…

– И… она избавилась от ребенка?

– Зачем же? Чудную девку родила, зовут Сандрой… Ей сейчас уже лет десять…

– А что жена…

– …В том-то и дело! Жива, жива и жива, хоть ты тресни! Прикована к постели. И он ухаживает за ней, как преданнейшая сиделка. Вырывается в Италию несколько раз в году – повидать дочь и Марию, – и конца этой истории не видно…

…На вокзале в Неаполе нас встречал водитель Паоло – его прислала Мария – с картонкой, на которой мы прочли наши имена.

И замелькали вдоль дороги указатели – Помпея, Везувий, Геркуланум… Моя подруга, неплохо знавшая итальянский, в силу своего общительного характера пыталась разговорить сумрачного молодого человека…

– Как там Мария? – спрашивала она. – Какие новости?

– Все хорошо, – отвечал Паоло.

– А Сандра? Здорова?

– Здорова, – отвечал он.

– А что там, вдали, – Везувий? – встревала я по-английски.

Он бросал взгляд налево, словно с утра, с тех пор, как он выехал за нами к поезду, на этой дороге могло появиться что-нибудь новенькое.

– Везувий, – отвечал он.

И справедливо: в те семьдесят евро, за которые он нанялся нас везти, не входила ознакомительная экскурсия по окрестностям. Мария, Сандра и Везувий на этом пути были уравнены в правах.

Вскоре дорога пошла вверх, закружила, взбираясь все выше, пока наконец слева, внизу не пыхнуло синим пламенем море, и мы практически уперлись в тупик над обрывом. Медленно протиснулись в ворота пансиона, проползли по зеленому, увитому виноградом двору и остановились перед высокой дверью под каменным портиком с выбитым на нем словом: «CONSOLAZIONE».

Мы расплатились с Паоло, а он расщедрился и помог втащить сумки внутрь помещения… Не знаю, как назвать его – лобби? вестибюль? – мне так не нравятся все эти гостиничные слова, они не имели никакого отношения к дому, в который мы попали! С порога перед нами открылась уютная зала, дальняя стена которой, с раздвижными стеклянными дверьми, выходила на террасу, обращенную к морю, зашторенному сейчас легкими занавесями. На огромном блеклом ковре расставлены были плетеные кресла, столы и диваны, стояли вазы по углам… В простых рамках на стенах висели черно-белые фотографии старого Сорренто, годов – судя по одежде и маркам машин – тридцатых-сороковых… Ничего здесь не было нового, угодного вкусам среднего туриста. Слева от входа, у стены, притулилась высокая стойка портье, со старой настольной лампой под стеклянным абажуром, – пустующая; впрочем, по зову нашего водителя из соседней двери быстро вышел молодой человек, чем-то

похожий на Паоло, возможно, даже его брат, – и пока он записывал наши имена и выдавал ключи, один другому оживленно рассказывал, судя по жестам, – что-то автомобильное…

– А где же Мария? – спросила моя подруга.

– Она сегодня в Масса Лубренце по делам и вернется поздно, – ответил портье.

По широкой каменной лестнице, которая подошла бы скорее замку, чем скромной вилле, мы спустились на второй, если считать сверху вниз, этаж – дом вгрызался уступом в скалу. В нишах площадок гнездились мраморные скульптуры, словно укрытые от непогоды. Над каждой, как лампады, теплились светильники под желтыми абажурами с трогательной старушечьей бахромой.

Наша комната оказалась большой, квадратной, с поместительными кроватями, с высоким и усталым, как старый гренадер на покое, зеркальным шкафом, с потертыми креслами и у кроватей – двумя непарными, но великолепными, давно нечищенными бронзовыми лампами, явно начала прошлого столетия…

Дверь на балкон скрывалась за плотными бордовыми шторами, и когда я раздвинула их, весь широчайший блескучий залив размахнулся передо мной наотмашь, щедро, навеки… Никогда б уже я не смогла забыть этой картины.

Я ахнула и некоторое время стояла так, перед стеклянными дверьми, не отрывая взгляда от ровной дневной синевы моря, от всклокоченных гривок темно-зеленых пальм, от густых каракулей кактусов на чистом листе голубого неба, от лиловой пены бугенвиллий, сползающих по склону ущелья, от черных – на фоне сверкающего залива – веретен кипарисов… Наконец моя подруга распахнула дверь и мы вышли на балкон, где стояли пластиковый стол и два плетеных слегка рассохшихся кресла.

От вида, что открывался внизу и вокруг, невозможно было оторвать взгляда. Вилла сидела гнездом на вершине скалы, в углублении врезающегося в берег ущелья и, если перегнуться вниз, справа можно было увидеть крошечный лифт, божьей коровкой ползущий по крутизне обрыва среди кустов и деревьев к желто-серой кляксе пляжа. И широко вдаль негасимо сиял залив с кораблями, яхтами, лодками, плотами и прочими плавучими приспособлениями, при помощи которых человек удерживается на спине морского божества уже столько тысячелетий…

– Никуда отсюда не уйду, – сказала я. – Вот так и буду сидеть все два дня на этом балконе.

Моя подруга засмеялась и сказала:

– Уйдешь, уйдешь… Нас ждут еще Амальфи, Равелло. В какой ресторанчик в Равелло я поведу тебя обедать!.. Смотри вниз, нет, правее, вон, напротив двух лодок – видишь дом у самой воды? Он тоже принадлежит Марии, как и эта вилла, – все дедово наследство… Много лет чуть не в развалинах лежал, а года два назад она его отстроила для себя, для дочки. Ну, и для Шимона, когда тот приезжает… Вон как черепица-то на солнце горит… Новенькая!..

– Как называется наша вилла, напомни?

– «CONSOLAZIONE»

– Какое-то громоздкое имя… Что оно означает?

– «Утешение»… Поэтично, правда? Там у деда случилась некая романтическая история. Надо у Марии подробности спросить…

Мы пообедали в ближайшей траттории, прошлись курортным бездельным шагом по торговой Корсо Италия до центральной площади Тассо, заглядывая по пути во все магазины, лавки и забегаловки, а потом до ночи, по моей скулящей просьбе, просидели-таки на балконе, следя за всеми изменениями лица залива, испещренного ноготками лодок, ежеминутно смаргивающего белые нити пенного следа от катеров и бережно пасущего два далеких

парусника, истаявших наконец – между двумя огромными кипарисами на склоне ущелья – в направлении Капри, в совсем уже синих сумерках.

* * *

На другой день у нас была намечена грандиозная целодневная поездка… Моя подруга, со свойственной ей щедростью бывалой путешественницы, торопилась развернуть передо мною Амальфитанское побережье.

Но до завтрака уговорила меня искупаться в море. В кабинке лифта, с полотенцами на плечах, с пятидесятиметровой высоты мы медленно сползли к пляжу, подковой охватившему персональную маленькую бухту. Отсюда, если глядеть снизу вверх, поросшие зеленью скалы ущелья высились угрожающе прекрасно и даже оперно-величественно. Вилла «Утешение» на макушке одной из них казалась обломком корабля, заброшенного какой-то гигантской волной на нечеловеческую эту высоту.

Вероятно, летом здесь, внизу, все испещрено цветастыми тентами, а в заколоченном сейчас киоске торгуют напитками и бутербродами.

В нише каменного забора укрылась раскрашенная статуэтка святого, покровителя тех, кто в воде: монаха в коричневой рясе и черных митенках на руках, сцепленных в молящем жесте.

Вода оказалась слишком холодной для меня, свято верящей, что купаться в море при температуре воды ниже 30° по Цельсию – самоубийство. Я осталась сидеть на берегу, на расстеленном полотенце, перебирая серую и крапчатую гальку, раскапывая в ней отполированные волнами осколки синего и желтого бутылочного стекла, и, пока моя подруга бодро комментировала что-то из воды, поглядывала в холодную синь залива, чисто отрезанную светлым, почти белым сейчас, небом.

Вдруг кто-то окликнул мою подругу, та приветственно вскинула руки в воде. Я оглянулась. В полукруглом окне большого каменного, нависающего над водой, дома, – того, что вчера мы видели с высоты нашего балкона, – стояла и махала рукой светловолосая женщина в халате. Она скрылась в доме и вскоре вышла на деревянную, опоясывающую все строение, террасу, откуда по ступеням спустилась на пляж. Это и была Мария.

Она скинула халат, оказавшись в цельном черном купальнике, и, зайдя по пояс в воду, резко выкинув перед собой руки, бросилась вплавь. Там, в воде, они и обнялись с моей подругой, и минут пятнадцать, совершая круги одна вокруг другой, жадно болтали.

Наконец вышли на берег. Меня представили хозяйке пансиона.

Я с интересом рассматривала эту женщину, ожесточенно-весело растирающуюся полотенцем. Была во всей ее фигуре плавная мощь, как в морских конях, несущих раковину Нептуна. Узкое, очень подвижное лицо, тонкая талия и сильные полные бедра, выразительные, как могут быть выразительны только руки. И в диспропорции между плотной силой бедер и неожиданной хрупкостью тонких щиколоток тоже было что-то неуловимо морское. Так в больших розовых раковинах присутствует и строительная мощь кальция, и ломкость закругленных волною завитков.

Обе они продолжали болтать по-итальянски.

– Не обращай внимания, – обронила подруга вполголоса, – трепотня вокруг жизни, будет что интересного, расскажу потом.

– Ты обещала спросить ее про название виллы…

– О, си! – спохватилась она, и дальше минут пятнадцать мне уже и вовсе ничего не оставалось, как только отрешенно наблюдать за лодочками, катерами и конусом Везувия в курящейся дымке горизонта…

– …Вечером мы приглашены в хозяйский дом на чашку кофе, – сообщила подруга, когда мы поднимались в лифте. – Потому что завтра Мария уже не существует ни для кого из постояльцев, ибо завтра! приезжает!! Шимон!!!.. Все это со шлейфом восклицательных знаков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.